

# ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА



**Василий Осипович  
КЛЮЧЕВСКИЙ**  
(1841–1911)

**Д**ля чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость — культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничижение, — это только суррогаты народного самосознания. Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

**С**амосознание — трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается разносторонними путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, — минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстояние и проверить направление.

**В**еликие деятельности — проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудно уловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых общественных сил и средств, и предрекает их дальнейшее развитие. Такие деятельности — и показатели народного роста, и указатели направления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятливы, что оживляют народное самосознание.

**Н**а протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания.

Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далёких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой — поэт. *Полтава* и *Медный всадник* образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжёлое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Пётр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыл это, как он говорил, божие благословение, втуне под землю скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путём из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплочённой, Западно-Восточной Европой. Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слёзы свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство, ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные всё ещё оставались как бы в забытьи, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Пётр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблески русской политической мысли, а в массе — крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестующих подпольных памфлетах и тёмных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на своё чувство боли и эти протесты, отдавал всё — и труд, и достояние, и жизнь — на пользу государства. Но преждевременно оторванный от своего дела, Пётр завещал дальнейшим поколениям средство довершить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи, — насаждённую им науку.

Ключ понадобился скоро. Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Пётр своей реформой сделал вызов России, её гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготавливался; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпускаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внёс первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширокий ещё поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно

энергичная струйка вроде электрического тока. Пётр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное — парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Пётр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгуя как философ исторической действительностью, не желая мараить рук не всегда опрятной практикой западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилась некоторого подъёма русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но всё же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петра I и Екатерины II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказалось в этой поэзии? До сих пор она не перестаёт изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка, и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и *Брожу ли я вдоль улиц шумных*, и *Безумных лет угасшее веселье*, и разгулье удалое, и злые речи Мефистофеля, и священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная тёплым светом холодная пустыня скучающей души великосветского бродяги, и «горный ангелов полёт, и гад морских подземный ход, и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза ещё в младенчестве вручила ему семистольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушённые богами, и песни мирные фригийских пастухов». Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов, где летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь к декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призывание поэта в величавом образе библейского пророка, а рядом в *Поэте* так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся столь своенравными переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным

подъёмам свыше призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», ещё расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, умением проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, в дух самых отдалённых друг от друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте, и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие ещё предания пугачёвской и помещицкой старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живёт, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразные движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все уравнивается, становится прекрасным, и стройно укладывается в цельное мирозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа — всё это выходит у Пушкина реально-точно и жизненно-просто и всё освещено каким-то внутренним светом, мягким и тёплым. Источник этого света — особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить тёмный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушён этот взгляд? Конечно, прежде всего усилиями счастливо одарённого личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни. Вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышью беготней», вслушиваясь в её скучный шепот, силился понять её смысл и учил её тёмный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического понимания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить тёмные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и пословицах, в ходе истории нашего народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдёт его и в основе своего личного настроения, не мимолётного, случайно набегающего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого из нас. Вникните в него ещё поглубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общежития. Да разве это чьё-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа — внести нравственный порядок в анархию людских отношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина — русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим её содержанием и направлением измеряется и её значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине выросшего её народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облечённых в небывалые по совершенству литературные формы. Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и своё отечество; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьёзным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что ещё важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьёзнее смотреть на своё, то через неё же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в свойстве и сочетании основных мотивов, её вдохновлявших, во взгляде поэта на жизнь, во всём складе его мирозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека. В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на всё человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В *Медном всаднике*, помните, есть два стиха с вопросами, обращёнными к гиганту, который «с простёртою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?

Какая сила в нём сокрыта?



Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе — разумеется, о будущем России, а сокрытая в нём сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый



конь, и державно простёртою рукою начал над ней свою преобразовательную работу. Та же сила сказалась ещё в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простёртой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного лучше, — сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он преуказал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своём самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа всё лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет

пред миром и русский народ с тем обликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится то, о чём некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем, тогда ещё «мирным, благосклонным»:

**«...о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся»...**

В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займёт своё место мирный русский народ.

1899 год